

ТЕНИ

ВАДИМ МОРОЗОВ



ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ВЕЛЬСКОГО
КНИГА 2

Вадим Морозов

Тени

<https://litres.ru/74602467>

SelfPub; 2026

Аннотация

Санкт-Петербург, 1900–1901. Зима сменяется оттепелью, а метель — туманом. Следователь по важнейшим делам Ипполит Вельский ведёт пять дел в пяти районах города: от Дворцовой набережной до Сенной площади. Каждое преступление — не только загадка, но и вопрос о цене милосердия. Вельский привык нарушать правила ради справедливости, но не замечает, как его решения начинают жить собственной жизнью. Рядом появляется молодой журналист Кречетов — восторженный, дерзкий, видящий в следователе героя. Он становится его тенью, зеркалом и, возможно, главным испытанием. Но у милосердия есть цена — и платить её придётся не ему. Мрачный петербургский нуар о вине, гордыне и человеке, который пытается остаться честным в нечестном мире. Вторая книга серии «Записки следователя Вельского».

Содержание

Глава 1. Метель	4
Глава 2. Ледяной дом	21
Глава 3. Ледяной дом	31
Глава 4. Статья	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Вадим Морозов

Тени

Глава 1. Метель

Метель началась к вечеру, как и предсказывали извозчики на Аничковом мосту.

Вельский стоял на Васильевском острове, в маленькой комнате на четвёртом этаже, и смотрел на тело студента. Молодой человек — двадцать два года, не больше, — лежал на кровати, вытянувшись, как на столе анатомического театра. Руки сложены на груди. Глаза закрыты. Рядом на тумбочке — пузырёк из-под морфия, почти пустой, и записка, написанная ровным, почти каллиграфическим почерком.

«Не вините никого. Я устал».

Вельский перечитал. Потом ещё раз. Потом отложил записку на тумбочку.

Слишком правильно. Слишком гладко. Он видел такие записки десятки раз. Студенты, чиновники, женщины, потерявшие детей, — все они писали одинаково ровно, будто смерть была для них не трагедией, а аккуратным завершением счёта. Он перестал им верить лет десять назад. Может, двадцать.

Но эта была ещё хуже. Эта была как из романа. Как из пло-

хого романа, где герой уходит красиво, оставив после себя несколько слов, которые должны что-то значить. «Я устал». Кто не устал? Кто в этом городе не устал?

Он подошёл к окну. За стеклом метель закручивала снег в белые спирали. Васильевский остров тонул в темноте — редкие огни, занесённые улицы, чёрные силуэты деревьев. Где-то далеко, за Невой, светились окна Зимнего дворца — холодные, ровные, как зубы в чужом рту. Он смотрел на них долго, не мигая. Потом обернулся.

Лужин стоял у двери, с саквояжем в руке. Его левое веко дёргалось — верный признак того, что он нервничал. За годы совместной работы Вельский научился читать эти сигналы так же хорошо, как читал почерк преступников. Лужин боялся мёртвых. Боялся с первого курса, когда его вырвало на вскрытии. Но работал. Работал двадцать лет. И Вельский уважал его за это больше, чем за талант.

— Что скажете? — спросил Вельский.

— Официально — самоубийство. Морфий. Записка. Видите ли, всё сходится.

— Сходится, — повторил Вельский.

Он подошёл к телу. Ближе. Наклонился. Лицо студента было спокойным — слишком спокойным. Ни гримасы, ни судороги, ни следа боли. Как будто он уснул. Как будто кто-то уложил его. Он взял руку. Пальцы были холодные, окочевшие. Он посмотрел на ногти. Чистые. Ни следа борьбы. Ни царапины.

Он посмотрел на свои руки. Пальцы были в чернилах — он писал утром, разбирая старые дела. Двадцать семь лет в профессии. Тысячи допросов. Сотни тел. Он давно перестал считать. И всё равно каждый раз — вот это чувство. Как зуд под кожей. Что-то не так. Не спеши. Смотри.

Он выпрямился. Оглядел комнату. Стол у окна, заваленный бумагами. Этажерка с книгами. Кровать. Тумбочка. Стул. Всё простое, бедное, студенческое. Обои выцвели, паркет скрипел. Пахло пылью, табаком и чем-то ещё — сладковатым, тяжёлым. Морфий. Запах был тонкий, но Вельский знал его. Он знал много запахов, которые не хотел бы знать.

— Кто его нашёл?

— Хозяйка. Говорит, вошла утром — он не вышел к чаю. Дверь была заперта.

— Заперта?

— Да. На ключ. Ключ хозяйка нашла под ковриком. Запасной.

Вельский помолчал. Он смотрел на записку. Ровный почерк. Аккуратные буквы. Ни пятнышка, ни кляксы.

— Лужин, — сказал он. — Сколько лет мы работаем вместе?

Лужин моргнул.

— Гм... Лет десять, Ипполит Ардальонович.

— Десять. И за десять лет вы видели хоть одно самоубийство, где человек складывал руки на груди?

Лужин подошёл, взглянул на тело.

— Видите ли... с научной точки зрения... люди по-разному...

— Вы видели или нет?

— Нет, — признал Лужин. — Не видел.

— И я не видел, — сказал Вельский. — А я видел их больше, чем вы. И больше, чем мне хотелось бы.

Он достал папиросу «Дукат», закурил. Дым поплыл к потолку, смешиваясь с запахом карболки, который всегда сопровождал Лужина. Запах был резкий, чистый, больничный. Он не выветривался. Он въедался в одежду, в волосы, в кожу. Вельский давно перестал его замечать — как перестают замечать собственное дыхание.

— Где Громов?

— Здесь, ваше благородие.

Пристав стоял в дверях, крестился. Красный нос блестел, усы были влажные от снега. Он крестился перед каждым делом — привычка, которую он не мог объяснить и не пытался. Вельский не спрашивал. У каждого свои ритуалы.

— Кто ещё был в квартире?

— Хозяйка. Кухарка. Горничная. Все говорят — он был тихий. Никого не пускал. Жил один.

— Дверь была заперта, — сказал Вельский. — Ключ под ковриком. Окно?

— Закрыто. Замок цел.

— Значит, никто не входил и не выходил.

— Так точно.

Вельский кивнул. Он ещё раз посмотрел на тело. Что-то было не так. Не в морфии, не в записке, не в запертой двери. Что-то в самом студенте — в том, как он лежал. Слишком аккуратно. Слишком правильно. Как будто кто-то уложил его.

Он подошёл к столу. Бумаги, книги, тетради. Он перелистал их. Конспекты, лекции, черновики. Ничего. Потом открыл ящик. Там было письмо. Сложенное вчетверо. Без конверта. Он развернул. Почерк был другой — быстрый, небрежный. «Отдай до пятницы. Или будет хуже». Подписи не было.

— Лужин, — сказал он. — Посмотрите.

Лужин подошёл, прочитал.

— Гм. Угроза?

— Долг, — сказал Вельский. — Студенты всегда кому-то должны.

Он положил письмо в карман. Потом посмотрел на записку. Ровный почерк. Аккуратные буквы. И — письмо. Быстрый, небрежный. Два разных человека. Или один, но в разном состоянии.

— Громов, — сказал он. — Узнайте, кто приходил к нему в последнюю неделю. Всех. Соседей, товарищей, знакомых. И узнайте, был ли у него долг.

— Долг?

— Студенты всегда кому-то должны. Это может быть связано.

— Так точно.

Громов вышел. Лужин остался, переминаясь с ноги на ногу.

— Вы думаете, это убийство?

— Я думаю, — сказал Вельский, — что в этом городе никто не умирает просто так. Даже от морфия. Особенно от морфия.

Он докурил папиросу, бросил окурочек в пепельницу — единственную чистую вещь в этой комнате, — и вышел.

В коридоре его ждала хозяйка. Пожилая женщина, лет шестидесяти, в тёмном платье, с повязанным платком. Она стояла, прижав руки к груди, и смотрела на Вельского с тем выражением, с каким смотрят на людей, которые могут разрушить жизнь.

— Ваше благородие...

— Как вас зовут?

— Пелагея. Пелагея Ивановна.

— Расскажите, Пелагея Ивановна. Что вы знаете о нём?

Она вздохнула. Глубоко, тяжело.

— Хороший был мальчик. Тихий. Учился. Книжки читал. Никого не трогал. Я его два года знаю. Он у меня с прошлой зимы. Платил вовремя. Всегда. Никогда не задерживал.

— Он жил один?

— Один. Так и говорил: «Я один, Пелагея Ивановна. Мне никто не нужен».

— К нему кто-нибудь приходил?

Она задумалась.

— Приходили. Студенты. Двое или трое. Молодые. Шумные. Он их не любил, по-моему. Но пускал. Они сидели, спорили. О чём-то. Я не слушала.

— А ещё кто-нибудь?

— Был один. Постарше. Серьёзный. Приходил два раза. Я его не знаю. Он не назывался. Просто проходил. А потом уходил.

— Когда он приходил в последний раз?

— Дней пять назад. Или шесть. Я не помню точно.

— Как он выглядел?

— Высокий. Худой. Лицо такое... — она провела рукой по лицу, — острое. И глаза быстрые. Он не смотрел на меня. Прошёл — и всё.

Вельский кивнул. Он запомнил. Высокий, худой, острые черты. Это мог быть кто угодно. Но это был не Митрофанов. Митрофанов был молодой, бледный, с дрожащими руками. Этот — другой.

— Спасибо, Пелагея Ивановна.

Он вышел на улицу. Метель усилилась. Вельский шёл пешком — сани не поймать в такую погоду, — и снег забивался в воротник, таял на лице, стекал за шиворот. Он не замечал.

Он думал о записке. О ровном почерке. О сложенных руках. О запертой двери. О человеке в сюртуке. Кто он? Должник? Или кто-то ещё? Он запомнил. Но пока не знал, куда

это ведёт.

Он остановился. Прислушался. Метель выла в переулках, как голодный зверь. Где-то далеко звонил колокол — глухо, приглушённо, будто из-под воды.

Он достал чёрную тетрадь. Открыл на первой свободной странице. Написал:

«Декабрь 1900. Студент. Морфий. Записка. Дверь заперта. Руки сложены. Что-то не так».

Он закрыл тетрадь. Убрал в карман. Пошёл дальше.

Он шёл по набережной. Нева была чёрной, тяжёлой, покрытой снегом. Лёд стоял уже неделю. По льду ходили люди — чёрные фигурки, сгорбленные, спешащие. Извозчики на другом берегу жгли костры. Дым поднимался в морозный воздух, и его сразу сносило ветром. Вельский смотрел на этот дым и думал о том, что Петербург зимой — это не город. Это замёрзшее пространство, в котором люди пытаются выжить. И некоторые не выживают.

Он докурил. Бросил окурочек в снег. Пошёл дальше.

Редакция «Петербургского листка» находилась на Невском, в подвале. Вельский спустился по узкой лестнице, пахнувшей типографской краской и сыростью. Он зашёл сюда, потому что хотел посмотреть подшивку за последние месяцы. Ему нужно было понять: студент на Васильевском — это единственный случай или начало серии.

Дверь была приоткрыта. Внутри горела одна лампа — керосиновая, тусклая. За столом сидел человек.

Молодой. Лет двадцати восьми, не больше. Высокий лоб, всегда немного красный от возбуждения. Чернильные пятна на пальцах. Он писал — быстро, размашисто, — и не заметил, как Вельский вошёл.

Вельский постоял в дверях. Он смотрел на этого молодого человека и думал: где я его видел? Не видел. Но что-то знакомое. Может, в зеркале. Много лет назад.

На стене метались тени — от лампы, длинные, кривые. Тень Кречетова, склонившегося над столом. Тень Вельского, стоящего в дверях. Они сходились, расходились, сплетались. Вельский смотрел на них дольше, чем следовало.

— Простите. Мне нужна подшивка за последние месяцы.

Молодой человек поднял голову. Глаза у него были серые, быстрые, голодные.

— Вельский, — сказал он. — Ипполит Ардальонович.

— Вы меня знаете?

— Я всех знаю. — Он отложил перо. — Сергей Кречетов. «Петербургский листок».

— Мне нужна подшивка. За октябрь, ноябрь, декабрь.

— Зачем?

— Я ищу заметки о самоубийствах.

Кречетов чуть прищурился. Он встал, подошёл к полке с подшивками, провёл пальцем по корешкам.

— Октябрь... ноябрь... декабрь... — Он вытащил одну папку, потом другую. — Вот. Что-то конкретное?

— Молодой человек. Студент. Васильевский остров.

Кречетов замер. Он держал папку в руках и смотрел на Вельского.

— Студент на Васильевском? — переспросил он. — Не слышал.

— Морфий.

— Не слышал, — повторил Кречетов. — В газетах не было.

Вельский кивнул. Он взял папку, сел на стул — скрипучий, с продавленным сиденьем, — и раскрыл её. Зашелестели страницы. Заметки о самоубийствах, о несчастных случаях, о смертях от болезней. Он вёл пальцем по строчкам. Молодой человек, двадцать три года. Молодой человек, двадцать пять. Женщина, тридцать. Мужчина, сорок. Ничего о студенте с Васильевского. Ничего о морфии.

Он закрыл папку.

— Ничего, — сказал он.

Кречетов молчал. Он смотрел на Вельского. Потом сказал:

— Вы ищете смерть. Я тоже ищу смерть.

Вельский поднял на него глаза.

— Уже год, — сказал Кречетов. — Одну смерть. Адвоката Бестужева. Вы его знали?

Вельский не ответил.

— Я искал статьи. Некрологи. Хоть что-нибудь. Ничего. Две строки в «Ведомостях». И всё. Я пошёл к редактору. Сказал: это странно. Он посмотрел на меня и сказал: «Не

трогай». Я спросил: почему? Он сказал: «Не трогай. Тебе же лучше».

Кречетов помолчал.

— Я не трогал. Я был молодой. Я хотел работать. Я подчинился. Я написал заметку о скачках. О погоде. О чём угодно, кроме этого.

— А теперь? — спросил Вельский.

— А теперь я не молодой. — Кречетов подошёл ближе. — И я хочу понять. Кто был тот человек, который заставил редактора замолчать. Кто закрыл дело в один день. Кто сделал так, чтобы о смерти известного адвоката никто не написал ни строчки. Я год собирал по крупицам. Я знаю, что дело вёл следователь по важнейшим делам. Я знаю, что он приезжал в квартиру на Миллионной. Я знаю, что он допрашивал вдову. Я знаю, что через день дело было закрыто. Я не знаю только одного: почему.

— У него было больное сердце, — сказал Вельский.

— У многих было больное сердце, Ипполит Ардальонович. Но не все умирают от него. И уж точно не все — так... вовремя. — Кречетов подошёл ближе. — Я навёл справки. Дело закрыли в один день. Для известного адвоката — слишком быстро. Слишком тихо. Никто ничего не говорит. Все молчат. И это молчание — тоже ответ.

— Вы хотите что-то сказать? — спросил Вельский.

— Я хочу понять, — сказал Кречетов. — Зачем следователь по важнейшим делам приходит в редакцию и просит

подшивку за ноябрь и декабрь. Год назад я тоже просил ноябрь и декабрь. Только тогда это был девяносто девятый год. И я искал смерть адвоката Бестужева. А теперь вы ищете смерть студента. И снова — ноябрь. И снова — декабрь.

Вельский молчал.

— Вы что-то скрыли, — сказал Кречетов. — Я не знаю что. Но я узнаю.

— Зачем вам это?

— Потому что я пишу книгу. — Кречетов вернулся к столу, взял блокнот. — О вас. О ваших делах. О том, как вы отпускаете убийц и закрываете дела тихо. Я хочу понять, почему вы это делаете. И написать об этом.

Вельский молчал. Он смотрел на чернильные пятна на пальцах Кречетова. На его быстрые глаза. На то, как он поправлял пенсне, которого не было.

Он видел себя молодого. Себя — двадцать лет назад. Такого же голодного. Такого же уверенного. Такого же глупого.

— Не пишите, — сказал он.

— Почему?

— Потому что вы не понимаете, о чём пишете. Вы видите, в моих решениях идеологию. А это не идеология. Это слабость.

Кречетов записал что-то в блокнот.

— Что вы пишете?

— Ваши слова. — Он поднял глаза. — Вы знаете, что я всё равно напишу?

— Знаю.

— И не остановите?

— Не смогу.

Кречетов улыбнулся — быстро, открыто, как улыбаются люди, уверенные, что их не в чём упрекнуть.

— Вы — мой герой, Ипполит Ардальонович.

— Я не герой, — сказал Вельский. — Я усталый человек, который пытается делать свою работу.

Он встал. Закрыв папку. Положил её на стол. И пошёл к двери.

— Мы ещё увидимся! — крикнул Кречетов вслед.

Вельский не ответил. Он поднялся по лестнице, вышел на улицу. Метель продолжалась. Снег падал на его пальто, на его седые волосы, на его усталое лицо.

Громов ждал его у саней.

— Ваше благородие. По студенту.

— Говорите.

— Нашли. Должник. Студент с третьего курса. Звали Митрофанов. Он должен был покойному триста рублей. Срок вышел неделю назад.

— Где он?

— В участке. Сознался.

Вельский сел в сани.

В участке было душно. Митрофанов — молодой, бледный, с дрожащими руками — сидел на табурете. Он не отпирался. Но говорил сбивчиво. С паузами. Глотая слова.

— Я не хотел. Я пришёл просить отсрочку. Он сказал — нет. Я... я толкнул его. Он упал. Ударился головой. Я испугался. Я не знал, что делать. Я...

Он замолчал. Посмотрел на свои руки.

— Вы взяли морфий? — спросил Вельский.

— Да. Он был на столе. Я... я вложил ему в руку. Я написал записку. Я не хотел, чтобы его мать узнала правду.

— Кто писал записку?

— Я.

— Почерк чей?

Митрофанов вздрогнул.

— Его. Я... я видел его тетради. Я скопировал. Я старался.

— Старались, — повторил Вельский. — Поэтому так ровно?

— Да.

— А дверь? — спросил Вельский. — Дверь была заперта. Как вы вышли?

— У меня был ключ. Он дал мне его раньше. Я запер дверь снаружи. А ключ потом под коврик положил. Чтобы хозяйка подумала — он сам.

— Почему именно под коврик?

Митрофанов молчал.

— Я... я не знаю. Я не думал. Я просто...

— Вы просто, — сказал Вельский. — Вы убили человека. Вы подделали записку. Вы заперли дверь. И вы не думали?

— Я не хотел...

— Вы не хотели. — Вельский помолчал. — Все не хотят. Но кто-то всё равно умирает.

Он встал. Кивнул Громову. Громов увёл Митрофанова.

Вельский вышел на улицу. Метель не прекращалась. Он закурил — папиросы кончились, и он стрельнул у Громова. Дым поплыл в морозный воздух.

Он думал о студенте. О запертой двери. О ровном почерке. О человеке, который не хотел убивать, но убил. И о том, что он, Вельский, почти поверил в самоубийство. Почти.

Он думал о человеке в сюртуке. Высоком, худом, с острыми чертами. Кто он? Должник? Или кто-то ещё? Он запомнил. Но пока не знал, куда это ведёт. Может, это ничего не значит. Может, это просто гость. Может, это вообще не связано. Но он запомнил. Он всегда запоминал.

Он достал чёрную тетрадь. Открыл на первой странице. Под записью о студенте добавил:

«Закрыто. Митрофанов. Долг. Сознался».

И ещё:

«Человек в сюртуке. Неизвестен. Приходил дважды».

Он закрыл тетрадь. Убрал в карман. Пошёл домой.

В пансионе Варвары Ильиничны пахло пирогами. Хозяйка — полная, добрая, в чёрном платье с белым воротничком — встретила его в коридоре.

— Батюшка, Ипполит Ардальонович! Где вы ходите в такую метель? Я вам чаю согрела. Горького, как вы любите. Без сахара.

— Спасибо, Варвара Ильинична.

Он прошёл в свою комнату. Маленькую, с окном на Неву. С кроватью, столом и этажеркой с книгами. На столе стояла чашка чая — горького, без сахара. Он сел. Отпил. Посмотрел в окно.

Метель не прекращалась.

Он думал о студенте. О Митрофанове. О том, что человек не хотел убивать, но убил. И о том, что он, Вельский, почти поверил в самоубийство. Почти.

Он думал о Кречетове. О книге. О том, что его слова — «я не герой» — уже записаны в чужой блокнот.

Он думал о Бестужеве. О записке, которую сжёг. О Елене, которой солгал.

Он допил чай. Поставил чашку. Достал чёрную тетрадь. Открыл на первой странице. Посмотрел на записи.

«Декабрь 1900. Студент. Морфий. Записка. Дверь закрыта. Руки сложены. Что-то не так».

«Закрыто. Митрофанов. Долг. Сознался».

«Человек в сюртуке. Неизвестен. Приходил дважды».

Он закрыл тетрадь. Убрал в карман. Лёг на кровать. Закрыл глаза.

Метель била в окно. Снег падал на Неву. Где-то далеко звонил колокол — глухо, приглушённо, будто из-под воды.

Он не знал, что через месяц он получит дело «Ледяной дом». Что встретит графиню Шереметеву. Что отпустит убийцу — во второй раз.

Он не знал, чем обернётся книга Кречетова. Что через год он будет стоять на набережной, смотреть в Неву и чувствовать, что он больше не тот следователь, которым был. Что он — тень.

Он не знал. Он просто лежал. И слушал метель.

Кречетов стоял у дверей редакции и смотрел, как Вельский поднимается по лестнице. В этом взгляде было что-то от охотника, который наконец увидел дичь.

Глава 2. Ледяной дом

Часть 1

Тело лежало на персидском ковре, как брошенная кукла.

Вельский стоял в дверях и смотрел. Молодая женщина — фрейлина, двадцать четыре года, — лежала на боку, поджав колени, будто замёрзла и пыталась согреться. На ней было бальное платье цвета слоновой кости, и оно странно смотрелось здесь, среди тяжёлых портьер и золочёной мебели. Одна туфелька слетела, другая осталась на ноге. На паркете — следы снега. Кто-то ходил здесь в мокрых ботинках.

Воздух в комнате был густым, сладким. Бергамот.

Вельский замер. Этот запах он знал. Он преследовал его год — с тех пор, как он стоял в квартире на Миллионной, над телом Бестужева, и решал, что делать с Еленой. Он сжёг тогда записку. Он солгал Елене. И запах бергамота с тех пор не отпускал его.

Но Бестужев был мёртв. Он умер в прошлом году, в своей квартире на Миллионной, от «разрыва сердечной мышцы». Вельский знал это точно. Он сам подписал протокол.

Он вошёл в комнату. Медленно. Огляделся. Дворцовая набережная, третий этаж. Квартира графини Шереметевой. Окна на Неву. Паркет, зеркала в золочёных рамах, хрусталь. Богато, холодно, пусто. Так живут люди, у которых всё есть,

кроме тепла.

Он подошёл к телу. Ближе. Наклонился. Лицо фрейлины было спокойным. Слишком спокойным. Глаза закрыты, рот чуть приоткрыт. На щеке — след от ковра. Ворс. Она лежала здесь долго. Или её положили.

— Ипполит Ардальонович?

Лужин стоял рядом, с саквояжем в руке. Его левое веко дёргалось. Он был бледен — не от мороза, от чего-то другого. От страха. Он всегда бледнел, когда видел тело.

— Что скажете? — спросил Вельский, отгоняя воспоминание.

— Официально — обморожение, — сказал Лужин, опускаясь на колени рядом с телом. — Видите ли, дверь на балкон была открыта. Мороз — двадцать градусов. Она была в бальном платье. Всё сходится.

— Сходится, — повторил Вельский.

Он выпрямился. Оглядел комнату ещё раз. Кровать, застеленная, но смятая. Туалетный столик. Письменный стол у окна. Этажерка с книгами. Дверь на балкон — открыта. За дверью — темнота, снег, ветер. Мороз входил в комнату, смешивался с запахом бергамота. Станный запах. Не для этой комнаты. Не для этой женщины.

— Где мать?

— В гостиной. Плачет.

— Плачет?

— Так точно.

Вельский кивнул. Он ещё раз посмотрел на тело. Что-то было не так. Не в морозе, не в двери, не в платье. Что-то в том, как она лежала. Слишком аккуратно. Слишком тихо. Как будто кто-то уложил её.

Он подошёл к балконной двери. Заглянул. Балкон был узкий, с чугунными перилами, занесёнными снегом. На полу — следы. Мужские. Большие. Кто-то стоял здесь. Не она. Она была в бальных туфельках. А следы — от сапог. Или от ботинок. Он не мог сказать точно. Снег занёс их, но не до конца.

— Лужин, — сказал он. — Посмотрите сюда.

Доктор подошёл, выглянул на балкон. Веко дёрнулось.

— Гм... Следы. Видите ли... это может быть... кто-то выходил...

— Или входил.

— Или входил. Гм.

Вельский вернулся к телу. Он смотрел на её руки. Ногти были обломаны. Она за что-то хваталась — за косяк, за дверь, — прежде чем упасть.

— Где Громов?

— Здесь, ваше благородие.

Пристав стоял в дверях, крестился. Красный нос блестел, усы были влажные от снега.

— Кто нашёл тело?

— Горничная. Глашка. Говорит, вошла утром, чтобы разбудить барышню, а её нет. Потом увидела — на балконе.

— На балконе?

— Так точно. Она была на балконе. Потом её перенесли. Хозяйка велела. Нехорошо, говорит, чтобы барышня на морозе лежала. Вот и перенесли. На ковёр.

Вельский посмотрел на тело. Вот оно что. Её нашли на балконе. Потом перенесли. Поэтому следы снега на паркете. Поэтому она лежит на ковре. Он должен был догадаться раньше.

— Балкон был заперт?

— Нет. Открыт.

— Кто-нибудь входил или выходил ночью?

Громов замялся.

— Хозяйка говорит, что нет. Но... — он понизил голос. — Вчера был бал. Может, кто-то приходил. Молодой человек. Жених.

— Жених?

— Князь Оболенский. Они помолвлены с осени. Он был на балу. Провожал её до дому, по словам прислуги. Потом ушёл.

Вельский кивнул.

— Громов, — сказал он. — Найдите мне список гостей бала. Всех, кто был в Зимнем вчера. И узнайте, где был князь Оболенский после того, как ушёл отсюда.

— Так точно.

Громов вышел. Лужин всё ещё стоял на коленях, глядя на тело.

— Вы уверены? — спросил он тихо. — Если это убийство, то дело будет... сложным.

— Оно уже сложное, — сказал Вельский. — Потому что официальная версия — обморожение. И кто-то очень хочет, чтобы мы в неё поверили.

Он вышел из комнаты, прошёл по коридору — длинному, с зеркалами в золочёных рамах, — и вошёл в гостиную.

Графиня Шереметева сидела в кресле у окна. Она не плакала. Она смотрела в окно, на Неву, и лицо у неё было сухим и жёстким.

— Ваше сиятельство, — сказал Вельский.

Она обернулась. Холодные глаза, тонкие губы, седые волосы уложены идеально.

— Вы следователь?

— Вельский, Ипполит Ардальонович. По важнейшим делам.

— Я знаю, кто вы. — Она смотрела на него без выражения. — Мне сказали, что моя дочь умерла от обморожения. Это так?

Вельский помолчал.

— Я пока не могу сказать точно.

— Вы не можете или не хотите?

— Ваше сиятельство, — сказал он мягко, — я хочу понять, что произошло. Для этого мне нужно задать вам несколько вопросов.

Графиня кивнула. Она не предложила ему сесть.

Он сел сам — на стул напротив, — и посмотрел на неё. Она была старая. Лет шестидесяти. Но держалась прямо, как солдат. Вельский знал таких женщин. Они не плачут при посторонних. Они плачут ночью, в подушку. Если вообще плачут.

— Когда вы видели её в последний раз?

— Вчера вечером. Она вернулась с бала около двух часов ночи. Я уже спала.

— Она была одна?

— С князем Оболенским. Он довёз её до подъезда.

— Они были помолвлены?

— Да. Свадьба должна была состояться весной.

— Она была счастлива?

Графиня чуть прищурилась.

— Она была фрейлиной, господин Вельский. Счастье не входит в обязанности.

Вельский помолчал.

— Она что-нибудь говорила? О чём-нибудь тревожилась? Может быть, о деньгах?

Графиня посмотрела на него. Долго.

— О деньгах? Почему вы спрашиваете о деньгах?

— Потому что долги — это то, из-за чего люди убивают.

— Моя дочь не имела долгов.

— А князь?

Графиня молчала. Потом сказала:

— У князя были долги. Все знают. Он из хорошей семьи,

но семья разорена. Это не тайна.

— Вы знали об этом?

— Знала.

— И позволили дочери выйти за него?

— Я не позволяла. Она решила сама. — Графиня смотрела на него сухими глазами. — Она была взрослая. Она была фрейлиной. Она знала, что делает.

— Вы уверены?

Графиня не ответила. Она отвернулась к окну. Метель билась в стекло. Снег падал на Неву. Где-то далеко горели огни.

— Благодарю вас, — сказал Вельский. — Я вынужден попросить вас не покидать квартиру до окончания расследования.

— Я не собиралась, — сказала графиня и снова отвернулась к окну.

На улице метель продолжалась. Вельский стоял у подъезда, курил — папиросы кончились, и он стрельнул у Громова, — и смотрел на Неву. Лёд был серым, тяжёлым, покрытым снегом. Где-то вдалеке, на другом берегу, горели огни.

Лужин вышел следом, кутаясь в пальто.

— Что вы думаете о графине?

— Она что-то скрывает, — сказал Вельский.

— Что?

— Не знаю. Что-то. Может, о женихе. Может, о дочери. Может, о себе.

Лужин помолчал.

— А запах? В комнате. Вы что-то почувствовали?

Вельский не ответил. Он бросил папиросу в снег — она ещё не докурилась, но ему было всё равно.

— Лужин, вы помните «ледяной дом»? Тот, что построили на Неве в прошлом году? Для праздника?

— Помню. Реконструкция. Екатерининская эпоха.

— Фрейлина была там. На том празднике. Год назад.

Лужин нахмурился.

— Вы думаете, это связано?

— Я думаю, что всё связано, — сказал Вельский. — В этом городе ничто не происходит само по себе. И метель, которая началась вчера, тоже была не просто метелью. Она смыла следы.

Он посмотрел на окна квартиры графини. В одном из них — в комнате фрейлины — горел свет. Кто-то ходил там, за занавеской. Горничная? Или кто-то другой?

— Громов, — сказал он. — Оцепите квартиру. Никого не впускать и не выпускать. Я вернусь через час.

— Куда вы, ваше благородие?

— В Зимний. Мне нужен список гостей.

Он вернулся в комнату. Подошёл к телу. Наклонился. Он смотрел на неё долго. На лицо, на руки, на платье. Потом — на шею. Полоса чуть ниже подбородка. Тонкая, бледная, почти незаметная. Как след от верёвки, которую затянули не слишком сильно. Или от шарфа. Или от ленты.

Он смотрел на неё долго.

Потом выпрямился. Посмотрел на Лужина.

— Заканчивайте здесь. Я вернусь.

Он вышел. Сел в сани. Метель била в лицо, снег забивался в воротник, но он не замечал.

Он думал об обломанных ногтях фрейлины. О запахе, который преследовал его. О том, что где-то в этом городе — может быть, в подвале редакции, может быть, в мансарде на Петербургской стороне — молодой человек с чернильными пятнами на пальцах уже писал книгу о нём — о Вельском.

Он думал о том, что эта смерть — не первая. И не последняя. И что он, Вельский, снова стоит перед выбором. Который не хотел бы делать.

Он думал о графине. О её сухих глазах. О её словах: «Счастье не входит в обязанности». Он знал таких женщин. Он знал, что они могут скрывать. И он знал, что за холодом часто прячется страх.

Он думал о князе Оболенском. Молодой, из хорошей семьи, с долгами. Он проводил её до подъезда. Он ушёл. Или не ушёл? Следы на балконе — мужские. Большие. Кто-то стоял там. Кто-то ждал. Или кто-то уходил.

Сани остановились у Зимнего. Вельский вышел. Метель ударила в лицо. Он поднялся по ступеням. Часовые пропустили его — у него была бумага.

Он вошёл в зал. Пусто. Только эхо шагов. Вчера здесь был бал. Музыка, смех, свет. А сегодня — тишина. И где-то на Дворцовой набережной лежит мёртвая девушка. В бальном

платье. С обломанными ногтями.

Вельский посмотрел на её шею и понял: это не обморожение.

Глава 3. Ледяной дом

Часть 2

Мать фрейлины не плакала.

Она сидела в той же гостиной, в том же кресле у окна, и, казалось, не двигалась со вчерашнего дня. Только на этот раз в руках — чётки. Перебирала их медленно, без молитвы, как считают шаги. За окном всё так же мело. Метель не прекращалась трети сутки. Снег бил в стёкла, заносил балконы, ложился на карнизы. Дворцовая набережная тонула в белом. Нева была не видна — только серое, мутное пятно за окном.

Вельский вошёл, не снимая пальто. Громов стоял в коридоре, красный, сонный — дежурил всю ночь, — и кивнул так, как кивают, когда хотят сказать много и не могут. Красный нос его блестел, усы были влажные. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь заговорить первым. За его спиной, у стены, сидела на стуле горничная — заплаканная, с красными глазами, — и смотрела в пол.

— Ваше сиятельство, — сказал Вельский.

Графиня подняла глаза.

— Вы получили список?

— Получил, — сказал Вельский, помолчав. — И, позволите заметить, список мало что проясняет.

— И что?

— Я хотел бы осмотреть комнату вашей дочери.

— Зачем?

— Затем, что я должен понять, с кем она разговаривала в последние недели. С кем переписывалась. Что читала.

Графиня смотрела долго. Потом сказала:

— Идите.

Она не спросила, что он надеется найти. Уже знала — или боялась узнать.

Комната Веры была угловая, выходящая на Неву. Большая, светлая, с высокими окнами и двумя зеркалами в золочёных рамах. Кровать застелена — горничная убрала, не подумав, что не следовало. Туалетный столик, письменный стол у окна, этажерка с книгами. На этажерке — французские романы, томик Тютчева, потрёпанный Пушкин. На стене — гравюры, на окне — тяжёлые портьеры. Пахло пудрой, духами и чем-то ещё — сладким, тяжёлым, незнакомым.

Вельский начал с туалетного столика.

Пудра, гребень, шпильки, коробочка с бисером. И — в глубине ящика, задвинутая к задней стенке, — плоская стеклянная фляжка с тёмной жидкостью. Вельский взял, отвинтил крышку, поднёс к лицу.

Бергамот.

Запах ударил в нос. Знакомый. Тот самый. Он преследовал Вельского год — с тех пор, как он стоял в квартире на Миллионной, над телом Бестужева, и решал, что делать с Еленой. Он сжёг тогда записку. Он солгал Елене. И запах

бергамота с тех пор не отпускал.

Он стоял так долго, что Лужин, вошедший следом, тихо спросил:

— Ипполит Ардальонович?

— Ничего, — сказал Вельский, закрывая фляжку. — Просто... у неё был странный вкус.

Правду он не сказал. Уже не был уверен, что говорит правду даже себе.

Открыл ящик письменного стола.

Бумаги, письма — но не те, что ждал. Приглашения, счета, записки от модистки, письмо от кузины из Москвы. Ничего. Почти готов был закрыть ящик, когда увидел — в самом низу, под пачкой счетов, — сложенный вчетверо лист. Без конверта. Без адреса. Только имя: «Вере Андреевне».

Развернул.

Почерк незнакомый. Мелкий, бисерный, с наклоном влево. Так пишут люди, которые привыкли считать деньги. Буквы ровные, аккуратные, без единой кляксы. Деловой почерк. Холодный.

«Милостивая государыня, — писал неизвестный, — честь имею напомнить, что срок платежа по векселю его сиятельства князя Оболенского истёк третьего дня. Сумма — восемь тысяч рублей. Ежели его сиятельство не изволит уплатить в течение недели, я буду вынужден обратиться к его кредиторам и в опекунский совет. Надеюсь на ваше благоразумие. Ваш покорный слуга, купец второй гильдии А. С. Пря-

хин».

Вельский опустил письмо.

В комнате стало очень тихо. Метель била в окно. Лужин стоял у двери и не дышал.

— Ипполит Ардальонович, что там?

— Ничего, — сказал Вельский.

Лгал. Лгал уже второй раз за год.

Прочитал письмо до конца. Потом — второе, третье, четвёртое. Все от купца Пряхина. Все с требованием уплаты. Все адресованы Вере. Она перехватывала их. Знала о долгах. Знала, что князь — мошенник.

Вельский закрыл глаза.

Вспомнился вчерашний вечер. Бал. Зимний. Свечи, музыка, смех. Она вернулась. Сказала матери, что устала. Пошла в свою комнату. И — умерла.

Знала. Знала, что выходит замуж за человека, у которого нет ничего, кроме титула. И собиралась что-то с этим сделать.

Открыл глаза. Посмотрел на письма. Потом на фляжку с бергамотом. Потом на следы снега на паркете — там, где переносили тело. Мокрые пятна. Грязные. Кто-то ходил в сапогах. Мужских. Больших.

И тогда понял. Не всё. Но главное. Пряхин — это долг. Оболенский — это долг. Вера — то, что стояло между ними. Она знала. Она могла рассказать. И кто-то — не обязательно Пряхин, не обязательно Оболенский, — но кто-то очень не

хотел, чтобы она рассказала.

Вышел из комнаты, прошёл в гостиную.

Графиня сидела всё там же. Чётки лежали на коленях, забытые. За окном падал снег. Медленный, бесконечный. Она смотрела на него, не мигая.

— Ваше сиятельство, — сказал Вельский. — Кто такой Пряхин?

Она не вздрогнула. Ждала этого вопроса.

— Купец, — сказала она. — Давал деньги в долг. Князю. И, кажется, не только ему.

— Вы знали?

— Знала, что у князя есть долги. Все знают. Он из хорошей семьи, но семья разорена. Это не тайна.

— А то, что он должен восемь тысяч?

— Восемь тысяч? — Графиня чуть прищурилась. — Нет. Этого я не знала.

Вельский молчал. Смотрел на неё. Она смотрела в ответ. Холодные глаза. Тонкие губы. Седые волосы, уложенные идеально. Она не плакала. Не молилась. Не спрашивала, кто убил. Она ждала. Ждала, что он скажет. Ждала, что он сделает.

— Ваше сиятельство, — сказал он. — Ваша дочь перехватывала письма. Она знала о долгах. Знала, что князь — банкрот. И собиралась что-то с этим делать.

— Что именно?

— Не знаю. Но князь знал, что она знает. И это его мотив. Графиня молчала.

— Вы знали, что он мог это сделать? — спросил Вельский.

— Знала, что он вспыльчив. — Графиня смотрела сухими глазами. — Знала, что он горд. Знала, что не потерпит, если кто-то узнает о долгах. Но не думала... Не думала, что он способен.

— Вы не думали.

— Нет.

Вельский помолчал.

— Я должен его допросить, — сказал он. — Вы позволите?

— Делайте, что должны, — сказала графиня. — Вы следователь.

Отвернулась к окну. Снег падал. Медленный. Бесконечный. Она смотрела на него, и лицо её было сухим и жёстким. Как будто она уже всё решила. Как будто она знала, что будет дальше.

Оболенский приехал к вечеру.

Вельский вызвал его через Громова — не как подозреваемого, а как жениха, для «уточнения обстоятельств». Князь вошёл в гостиную графини в пальто с бобровым воротником, с перчатками в руке. Молодой, худой, с длинными пальцами и бледным лицом. Терял перчатку — левую, всё время левую. Глаза быстрые, беспокойные. Он не смотрел в глаза. Смотрел на пол. На стены. На окно. Куда угодно, кроме

Вельского.

— Господин Вельский?

— Князь.

— Я уже говорил с приставом. Я был на балу. Я проводил Веру Андреевну до подъезда. Я уехал.

— Во сколько?

— Около двух.

— И больше не возвращались?

— Нет.

Вельский смотрел на руки. Перчатка — левая — чуть надорвана у большого пальца. Как будто за неё тянули. Или как будто тянули за что-то, за что она держалась. Он отметил это. Не сделал вывода. Просто запомнил.

— Князь, — сказал Вельский. — Вам знакомо имя Пряхин?

Оболенский вздрогнул. Едва заметно, но вздрогнул. Перчатка дёрнулась в руке.

— Пряхин? Нет. Не знаю такого.

— Вы уверены?

— Уверен.

— Тогда почему вы побледнели?

Оболенский открыл рот и закрыл. Посмотрел на графиню. Та сидела в кресле, не двигаясь. Смотрела в окно. Как будто её здесь не было. Как будто она не слышала.

— Я не побледнел, — сказал он. — Здесь жарко.

— Здесь холодно, — сказал Вельский. — Топят плохо.

Подошёл ближе. Ближе, чем следовало. Так, чтобы Оболенский чувствовал его присутствие. Чтобы не мог отвести глаз. Чтобы не мог думать ни о чём, кроме того, что сейчас скажет Вельский.

— Князь, — сказал мягко. — Я не собираюсь вас арестовывать. Пока. Я хочу понять. Вера Андреевна умерла не от обморожения. Её задушили. Я знаю это точно. И я знаю, что последним, кто её видел, были вы.

Оболенский молчал. Долго. Очень долго. Смотрел на перчатку. На свои руки. На пол. Потом сказал:

— Я не хотел.

— Чего не хотели?

— Она... она узнала. Про долг. Про Пряхина. Сказала, что расскажет матери. Что свадьбы не будет. Что я — мошенник.

— И вы её задушили.

— Не помню, как это вышло. — Говорил быстро, глотая слова. — Я держал её за плечи, она кричала. Я взял шарф. Не думал. Просто хотел, чтобы она замолчала. Она замолчала.

Посмотрел на Вельского. Глаза мокрые. Не от слёз. От страха. От того, что понял: всё кончено. Всё, что было, — кончено. Титул. Семья. Будущее. Всё.

— Я вынес её на балкон. Не знаю зачем. Думал... думал, что это будет выглядеть как обморожение. Все подумают — обморожение. Она была в бальном платье. Было холодно. Я открыл дверь, чтобы был мороз.

Вельский молчал.

— Князь, — сказал наконец. — Вы понимаете, что я должен вас арестовать?

Оболенский кивнул. Медленно. Как будто каждое движение давалось с трудом. Как будто он только сейчас понял, что это не сон. Что это правда. Что он действительно убил. Что он действительно будет наказан.

В этот момент дверь открылась, и вошла графиня.

Вошла без стука. Просто вошла и остановилась в дверях. Смотрела не на Оболенского, а на Вельского.

— Господин Вельский, — сказала она. — Я прошу вас.

— О чём, ваше сиятельство?

— Не арестовывайте его.

Вельский молчал.

— Он из хорошей семьи, — сказала графиня. — Он князь. Если его арестуют — это будет скандал. Это будет суд. Это будут газеты.

— Ваша дочь мертва, — сказал Вельский.

— Моя дочь мертва, — повторила графиня. — И я не верну её. Но я могу спасти её имя. И его имя. Если вы его отпустите.

— Отпущу? — Вельский посмотрел на Оболенского. Тот стоял ни жив ни мёртв, смотрел в пол. — Он убил вашу дочь.

— Он убил мою дочь, — сказала графиня. — Но её уже не вернуть. А его семья — это... это всё, что у меня осталось

от того мира, в котором я жила. Если вы его арестуете, я останусь одна. Совсем одна. С позором. С газетами.

Вельский молчал.

— Вы закрыли дело Бестужева тихо, — сказала графиня. — Я знаю. В нашем кругу это не секрет. Вы умеете... не поднимать шума. Сделайте то же для моей дочери.

Он смотрел на неё.

Думал о записке, которую сжёг. О Елене, которой солгал. О том, что его милосердие — не милосердие. Это гордыня. Желание решать за других, что есть добро.

Думал о том, что, если сейчас арестует Оболенского — это ничего не изменит. Вера останется мёртвой. Елена останется обманутой. Бестужев останется мёртвым. А он, Вельский, останется тем же, кем был: человеком, который думал, что может распоряжаться чужими судьбами.

Думал о «ледяном доме». О том празднике на Неве. Год назад. Вера была там. Познакомилась с Оболенским. Может быть, там. Может быть, на льду. Может быть, среди этих холодных, красивых, временных декораций. Ледяной дом растаял весной. Вера умерла зимой. Всё временное рано или поздно исчезает. И всё, что остаётся — это холод.

Думал о том, что он, Вельский, — часть системы. Системы, которая защищает своих. Системы, которая позволяет одним быть никем, а другим — никем не быть. Системы, которая закрывает дела тихо. Системы, которая молчит.

Сказал:

— Хорошо.

Оболенский поднял голову.

— Что? — прошептал он.

— Уходите, — сказал Вельский. — Немедленно. Из Петербурга. Я не хочу вас видеть.

Оболенский посмотрел на графиню. Та кивнула. Схватил перчатку с пола и вышел, не оглядываясь. Дверь закрылась тихо. Без стука. Без хлопка. Просто тишина.

Вельский остался один.

Графиня смотрела на него.

— Вы сделали доброе дело, — сказала она.

— Нет, — сказал Вельский.

Вышел на улицу. Метель выдохлась к утру. Снег ещё падал, но ветер стих. Небо серое, тяжёлое. Снег лежал на Неве, и лёд под снегом был тёмный, как вода.

Не знал, уедет ли Оболенский. Надеялся, что уедет. Но где-то в глубине, под усталостью и безразличием, чувствовал, что не уедет. И это чувство было хуже уверенности.

Закурил. Последнюю папиросу. Огонь вспыхнул, лизнул бумагу, погас. Вельский смотрел на огонь и не думал ни о чём. Снег падал на плечи. На шляпу. На руки. Не стряхивал. Пусть ложится. Пусть покрывает.

Он думал о том, что Вера Шереметева мертва. Что Оболенский жив. Что он, Вельский, отпустил убийцу. Во второй раз. И что где-то в этом городе — может быть, в подвале редакции, может быть, в мансарде на Петербургской стороне

— молодой человек с чернильными пятнами на пальцах уже писал книгу о нём. О Вельском. О следователе, который отпущает убийц. О герое.

Он думал о том, что героев не бывает. Бывают только люди. Усталые. Сломанные. Потерявшие смысл.

Кречетов пришёл вечером.

Вельский сидел в своём кабинете в пансионе Варвары Ильиничны. Пил горький чай без сахара. В чёрной тетради — на первой странице — было написано: «Дело „Ледяной дом“. Вера Шереметева. Убийца — Оболенский. Отпущен». Больше ничего. Ни объяснений. Ни оправданий. Просто факт.

Кречетов вошёл без стука, как всегда.

— Ипполит Ардальонович!

— Позвольте, — сказал Вельский. — Вы когда-нибудь стучите?

— Никогда. — Кречетов сел напротив, вытащил блокнот, поправил пенсне, которого не было. — Я слышал, вы закрыли дело.

— Кто вам сказал?

— Люди говорят. — Кречетов улыбнулся. — Говорят, жених уехал. Говорят, вы отпустили его.

Вельский молчал.

— Это правда? — спросил Кречетов.

— Это моё дело.

— Это ваше дело, — согласился Кречетов. — И это вели-

кое дело. Вы понимаете? Вы — единственный следователь в этом городе, который не боится отпустить убийцу. Вы не раб системы. Вы — человек.

— Я не раб системы, — сказал Вельский. — Я раб собственной гордыни.

Кречетов записал что-то в блокнот.

— Вы закрыли и дело Бестужева, — сказал вдруг. — Тихо. В девяносто девятом.

Вельский замер.

— Откуда вы знаете?

— Читал. В газетах было мало. Но я умею читать между строк. И умею считать. Известный адвокат. Умер. И — ни одной статьи. Ни некролога. Только две строки. Это странно. Это очень странно.

Вельский поставил чашку.

— Не пишите, — сказал он.

— Почему?

— Потому что вы не понимаете, о чём пишете.

Кречетов чуть прищурился.

— Вы уже говорили это, — сказал он. — Месяц назад. В редакции. Вы сказали: «Вы видите в моих решениях идеологию. А это не идеология. Это слабость».

Вельский молчал.

— Я запомнил, — сказал Кречетов. — Я всё запомнил. Я записал.

Похлопал по блокноту.

— Я записал каждое ваше слово. И знаете, что я понял? Вы правы. Это не идеология. Это слабость. Но слабость — это тоже идеология. Просто вы этого не видите.

— Уходите, — сказал Вельский.

— Уйду. — Кречетов встал. — Но я всё равно напишу. Потому что вы — герой. А герои не выбирают, быть им героями или нет.

Пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Вы слишком строги к себе, Ипполит Ардальонович.

— Я недостаточно строг, — сказал Вельский.

Кречетов вышел. Вельский остался один. Сидел в кресле. Снег за окном падал. Чёрная тетрадь лежала на коленях. Не открывал.

Кречетов записал всё в свой блокнот и улыбнулся.

Глава 4. Статья

Статья называлась «Гуманность следователя Вельского».

Вельский прочитал её утром, в пансионе, за чаем. Горьким, без сахара. Газета лежала на столе — «Петербургский листок», свёрстаный, пахнувший типографской краской. Кто-то подsunул её под дверь. Варвара Ильинична, наверное. Она всегда приносила газеты. Раньше он их не читал. Теперь — прочитал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.